

Гузель Яхина – российская писательница, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2019), автор романов «Зулейха открывает глаза» (2015), «Дети мои» (2018), «Эшелон на Самарканд» (2021). Роман «Зулейха открывает глаза» был отмечен Национальной литературной премией «Большая книга», премиями «Ясная поляна» и «Книга года» и экранизирован в формате сериала.



Гузель ЯХИНА ЭБИ

Меня родила не мама, а бабушка – эби. Однажды, когда ей стало скучно, состригла ногти, соскребла пот с тела, смешала – и получился я: из ногтей – кости, из телесной грязи – мясо. Так она рассказывает.

Каждый раз, когда эби постригает ногти, я с тревогой слежу за этим: не собралась ли она лепить еще одного мальчика? Отрезанные ногти хранятся в туго перевязанном холщовом мешочке на дне сундука, их там много, горсти и горсти, можно изготовить целую армию детей – красивее, здоровее, умнее и послушнее, чем я. От этой мысли порой бывает больно. Я мечтаю кинуть тот мешочек в печь, но знаю, что никогда этого не сделаю – не убью целую армию детей. Лучше не думать о том, что лежит на дне сундука.

Я рад, что у меня нет матери. Я видел матерей, и много видел – они слабые и жалкие. У них огромные круглые животы с дрожащими от напряжения пупками, тяжелые белые груди в синих узлах вен, облитые горячим потом и кровью ноги. Часами они стоят, нагие, посреди бани, ухватившись за перекинутое через потолочную балку полотенце и выгнув дугой позвоночник. Они стонут, а эби выпускает на свет младенцев из их чрева. Моя работа – охранять баню: я мужчина, и зло боится меня. Оно боится и железа, и чеснока, потому из дверного косяка обычно торчит топор, а по подоконникам раскиданы чесночные головки, но более всего – мужчин. Я сижу у порога и слушаю, как кричат роженицы. Если я засну, бабушке не заплатят за мою работу. Иногда люди просят эби оставить меня еще на пару дней, чтобы защитить новорожденного до имянаречения. Эти несколько дней в чужом доме – мука для меня: я не люблю расставаться с эби. Глядя на молодую мать, уже оправившуюся от родов, спокойную и улыбчивую, я не могу забыть её лица тогда: мокрого, искаженного болью, с оскаленными зубами. Я знаю – у всех женщин когда-нибудь бывает такое лицо. Какое же из этих двух лиц – настоящее?

Эби – не такая. Она никогда не меняет лица. Эби лучше всякой матери. Глаза эби – как палые листья, вмерзшие в осенний лед. Волосы – как полынь.

Кожа – как земля в степи, бурая, в мелких трещинах. Пальцы её рук никогда не разгибаются, как и спина – очень круглая, с остро торчащими вверх крыльями лопаток, правая чуть выше левой.

В том, что эби горбата, виноват я. Когда я был маленький, кости мои были мягкими, как глина: я не мог ходить сам, и эби носила меня в заплечном мешке – до того возраста, когда другие дети уже гусей пасут. Оттого и согнулась серпом. Даже голова моя была тогда мягкой, как гнилой арбуз, а самое гнилое место – на темени; положи на него руку, можно было ощутить биение моего сердца, а ткнув пальцем – пробить насквозь. Так она рассказывает.

Эби выхаживала меня. Помню, как она перепекала меня в печи; это мое первое и самое страшное воспоминание. Я лежу на деревянной лопате для хлеба, голый. Бабушка шурует кочергой в печном устье, затем поднимает лопату и сует в печь. Оказавшись в черной и горячей темноте, я перестаю ощущать границы своего тела. Я не могу даже увидеть, есть ли у меня еще руки или, к примеру, живот – и вою от ужаса. Мой вой, отражаясь от печных стенок, окутывает меня со всех сторон; кажется, я вою самому себе в уши. Когда эби вытаскивает меня на свет, падаю на пол и хочу уползти, но она цепко ловит меня за ногу и вновь сажает на лопату: перепекают больного ребенка трижды, еще два раза осталось... С тех пор я боюсь печи. Хотя кости мои после того случая окрепли, скоро я смог ковылять по дому, а спустя некоторое время и по улице. Это было кстати: эби начала брать меня с собой на заработки. Мы живем уединенно, в часе ходьбы от Рэхмэта, у самой кромки леса, но эби знают многие, на десятки холмов окрест. Весь Итиль знает эби. Если собрать младенцев, которые выпали из материнского лона в её руки, получится целый город, возможно, даже больше столичного Сары-Тау. Эби помогает всем, кто попросит, не только татарам, – чувашам помогает, мордве, даже казахам, хотя мулла-хазрэт и пеняет ей на это: «От неверных должно спасаться, а не разрешать им плодиться на нашей земле». А урусам и немцам не помогает – они не просят. Они – чужаки. Когда-то весь Итиль был нашим, татарские утки беззаботно плескались в его водах. Изредка набегали со стороны Великой степи дикие племена, поили из Итиля своих неутомимых и злых лошадей и утекали обратно; по пути угоняли людей и скот, но никогда не покушались на нашу землю. Землю нашу украли урусы: пришли и стали здесь жить. Понастроили церквей, дорог и городов. Позже привели немцев. Теперь уже и не поймешь, чей это край. Так эби рассказывает.

Рассказывает она много, а я слушаю. Сам никогда ни о чем не спрашиваю: я – немой. Слова живут внутри меня, их многие тысячи, они гудят и роятся внутри головы, как стая диких пчел в дупле, но никогда не вылетают наружу. Мулла-хазрэт считает меня наказанием свыше: «Немой не понимает людей, и они его не понимают. Он подобен идолам, которым когда-то поклонялись люди помимо Аллаха». Наверное, он прав: с бессловесным идиолом жить тяжело. А эби не согласна: говорит, послушание мое так велико, что с лихвой окупает молчание.

Послушание мое и вправду огромно, оно заменяет мне многое: резвость ума, способность к наукам, веселость духа, хитрость мысли. Оно – и есть я; пожалуй, оно даже больше меня. Оно может делать со мной даже то, чего я не хочу. Оно может делать со мной всё. Я понял это недавно: соскабливая ножом грязь с половиц в молельном зале (раз в неделю я хожу в рэхмэтскую мечеть и отдраиваю её всю, от ниши михраба и до порога, чтобы мулла-хазрэт поменьше ругался на нас с эби), я с тоской размышлял о том, что мулла может приказать мне что-то дурное – к примеру, раздеться донага при всех или выпить воду, которой я мою пол, – и вдруг осознал, что не посмею ослушаться. Ослушаться старшего невозможно, даже если он приказывает странные вещи. От таких мыслей у меня

потеплели щеки и начался шум в ушах, я нечаянно опрокинул ведро с грязной водой. Мулла-хазрэт пригрозил мне розгой, а я с облегчением и благодарностью улыбнулся в ответ: побои снести много легче, чем стыд.

Но более всего я боюсь того, что может приказать эби. Я всегда исполняю то, что она приказывает. А если она вдруг велит мне сунуть руку в кипящий котел? Или спрыгнуть с обрыва в Итиль? Я представляю себе, как подхожу к краю Желтого Утеса, высокого, в сто домов; смотрю на шевелящееся далеко внизу серое полотно воды в белых точках пенных бурунов; закрываю глаза, вдыхаю поглубже – и делаю шаг вперед... Я боюсь умирать. Надеюсь, эби никогда не прикажет мне ничего подобного.

– Салават! – звучит сверху её пронзительный голос. – Катайся, Салават! Лучше катайся! Прилежнее!

Я стараюсь: прижав согнутые руки к груди и стиснув от усердия губы, перекачиваюсь из стороны в сторону по широкой белой простыне, расстеленной на сьякэ. Перебираю босыми ногами, трусь затылком, прижимаюсь к ткани лицом – она пахнет чистой итильской водой и свежим ветром. Простыню эту вчера тщательно полоскали (не с мостков у берега, а в самых чистых струях, выехав на середину реки и свесившись с лодки), затем долго сушили на солнце. Сегодня ночью на ней зачнут ребенка. Я здесь нужен для того, чтобы хозяйка дома понесла мальчиком.

Сама она стоит, бледная, у окна и теребит занавеску. Рядом присел на сундуке муж, смотрит в пол. Оба молчат. Понимают, что счастье их семейное – в руках эби. За шесть лет совместной жизни Всевышний не дал им потомства – видно, грешен кто-то из них, а может, и оба сразу. Весь Рэхмэт уже понял, что грехи их велики. Мелкий грех – рождению детей не помеха; он на ребенке проявится, чтобы родителям о себе напомнить и в вере их укрепить, а затем исчезнет. Если отец ел тайком свинину – на спинке у новорожденного вырастет щетина, черная и жесткая, как у борова; её молоком материнским смажешь – она и выпадет. Если мать была чересчур болтлива или громко кричала на улице – будет дитя по началу крикливое и беспокойное, затем израстется и успокоится. О грехе языка, живота или ушей люди узнают и долго еще будут судачить, но родившийся ребенок сам по себе – знак милости свыше, успокоение и радость родителям. Иное дело – грех большой. Зависть и гордыня, самолюбие и лицемерие камнем лягут на грешника, придавят его вместе с супругом, превратят женское чрево в дырявую лохань, а мужское семя в пресное молоко. Не видать грешникам ни потомства, ни людского участия – так и проживут жизнь в пустом доме, как на кладбище. Как заметил бы мулла-хазрэт, «кто совершил грех, тот совершил его во вред себе».

Эби помогает таким несчастным. Эби милосердна. Вот и этих двух не оставила: жену выпаивала шалфеем и зверобоем, мужа – пижмой и подорожником; водила вокруг кладбища с молитвами; к лесному источнику – умыться и бросить монету; к одинокому дубу – обнять и попросить содействия. Вчера, после трех месяцев стараний и принесенного супругами в мечети обета, посмотрела на прибывающую луну, помяла вдумчиво груди молодой жены, понюхала волосы исхудавшего от волнения мужа; сказала, скоро быть зачатую. Сегодня привела в их дом меня.

Я катаюсь по простыне и исподтишка поглядываю на эби. Я всё время на нее поглядываю: если долго не вижу её глаз, спины или хотя бы не ощущаю её присутствия в соседней комнате, меня охватывает беспокойство – словно не дают дышать. Можно затаить дыхание на пару мгновений или больше – пока волна в Итиле катится с глубины до берега или пока мулла-хазрэт читает краткую молитву – но совсем не дышать нельзя. Нельзя надолго отрываться от эби.

– Усерднее катайся! – в глазах эби замечаю недовольство. – Проворнее вертись! Чаше!

Я кручусь быстрее – доски сякэ скрипят подо мной, только их и слышно в комнате, да еще мое ретивое пыхтенье. Простынь сбивается вбок, идет крупными морщинами.

Чувствую на спине сильные руки эби: сердясь на мою нерадивость, она сама принимается валять меня по постели. Раскатывает по простыне, как тесто. Втирает в нее. Размазывает по самым дальним её уголкам. Твердые негнущиеся пальцы мнут мне плечи, загривок, ноги. Я морщусь от боли и улыбаюсь одновременно: мне нравится ощущать себя тестом в руках эби. Её нависшее надо мною темное лицо с беззвучно шевелящимися губами, длинные бруски потолочных балок, красно-белые полотенца по стенам, бледные лица хозяев – всё кружится: туда и обратно, пять, десять, сто раз.

– Всё! – чуть запыхавшись, выдыхает эби. – Быть в доме мальчику!

Резко отпускает меня – я качусь в дальний угол сякэ и стукаюсь лбом о твердую бревенчатую стену.

– Спасибо вам, апа, – не поднимая глаз, еле слышно шепчет хозяйка. – Благодарить на вашу голову и на голову вашего внука.

Приподнимаюсь на локтях. Всё куда-то плывет, наискосок и вверх, но я настойчиво пытаюсь нащупать глазами взгляд эби: можно ли встать? Мои основательно взболтанные внутренности всё еще бултыхаются под ребрами, и вдруг – резко толкают меня в горло, будто стремятся наружу. Рот заливают кислым. Стремясь удержать позор в себе, вскакиваю с постели. Умоляюще гляжу на эби, не решаясь выбежать вон без её разрешения, но она, как назло, не смотрит: степенно поправляет белый платок на белых же волосах, водопадом стекающий с затылка по круглой спине, со значением оглаживает передник – дает время хозяину спуститься в подпол и выбрать там вознаграждение за наши труды.

Зажимая ладонью рот и всё еще пошатываясь от головокружения, топчу по половицам к выходу, выскакиваю в сени. Слышу сзади неодобрительно-удивленное покрякивание эби, но ничего уже не могу с собой поделывать – толкаю входную дверь, вываливаюсь на улицу; едва успеваю лягнуть и захлопнуть за собой дверь, чтобы не осрамиться перед хозяевами; падаю с крыльца в скользкую глину двора, ладони и колени разъезжаются, кое-как удерживаюсь, чтобы не шлепнуть лицом о землю; желудок качается внутри, как лодка на волнах, язык прыгает изо рта наружу – меня рвет.



Когда нутро мое пустеет и легчает, поднимаюсь на ноги. Ощущаю, как тягучие глиняные капли ползут по лбу и щекам. На шароварах – жирные черные шматы, они медленно оползают и с чавканьем шлепаются на землю. Из-за раскоряченной посреди двора телеги на меня с любопытством тарачится тощая лупоглазая коза.

Дверь с протяжным скрипом отворяется, на крыльце возникает эби с зажатым под мышкой свертком – нашим заработком. Увидев меня – чумазого и босого, по щиколотку в грязи – она поджимает губы в нитку и каменеет лицом, глаза её превращаются в комочки льда. Торопливо повязав на ноги деревянные котурны и не глядя на меня, она ковыляет за ворота. Стараясь не закапать глиной крыльцо и не поднимая глаза на окна, чтобы случайно не встретиться взглядом с хозяевами, хватаю свои котурны и бегу за бабушкой.

Ледяные глаза эби – это страшно. От них я сам становлюсь куском льда – и руки холодеют, и пальцы ног, и кишки словно обметывает игольчатым инеем. Ледяные глаза эби означают, что меня больше не существует: они будут смотреть сквозь меня, не замечая, как бы умоляюще я в них ни заглядывал и что бы ни делал для привлечения внимания. Скоро я и сам начну сомневаться, существую ли я или уже превратился в пустоту. Что толку в моих костлявых руках и бритой голове, в кривоватых ногах и разлапистых ступнях, широких и плоских, как лягушачьи лапки, во всем моем тщедушном и болезненном теле – если глаза эби равнодушно взирают на всё это и не видят?

Скользя голыми пятками по непрогретой весенней земле, я бегу, бегу: эби! эби! В такие мгновения мне всегда кажется, что я отчетливо кричу.

Она не слышит. Семенит быстро вдоль серых покосившихся заборов, ловко перескакивает по плоским камням, проложенным вдоль улицы, цокает котурнами. Когда эби сердится, движения её приобретают особую стремительность и четкость. Даже взглянув на нее с другого конца деревни, я мог бы мгновенно понять, спокойна она или рассержена – по тому, насколько резко она поворачивает голову или, например, поправляет платок.

Вина моя велика: я вел себя неподобающе – выскочил из дому, не спросив разрешения эби. Даже если хозяйка и не заметили моего постыдного валяния в грязи – всё равно велика: своей невоспитанностью я опозорил бабушку. А теперь, показавшись на улицах Рэхмэта грязным, как нечестивая свинья, позорю еще больше. Пусть улицы эти сейчас пустынные – нет ни прохожих, ни скота, даже собаки и куры куда-то исчезли – срамного вида моего никто не видит, но позор от этого не становится меньше.

На мое счастье, посреди улицы – колодец. Подбегаю, толкаю колодезное ведро – оно тяжело ухаает вниз, в черноту сруба; дзинькает, раскручиваясь, цепь; скоро раздастся тихий шлепок о воду. Налегая всем телом на отяжелевшую ручку и кое-как, рывками поднимая с глубины полное ведро, глазами слежу за удаляющимся белым платком эби: не упустить бы. Еле вытянув непослушное от тяжести ведро и водрузив на край сруба, окунаю лицо в обжигающе холодную воду – в качающееся отражение сизого неба с плывущими по нему белесыми пятнами облаков. Трясу лицом, сбрасывая капли. Замечаю, что эби вот-вот скроется за поворотом, нет времени мыться основательно – чуть приседаю и опрокидываю ведро на себя: сначала будто ошпаривает кипятком, затем леденит, сбегает судорогой по позвоночнику. Обтекая водой и прижимая к груди промокшие котурны, что было сил мчусь за угол, где только что исчез белый прямоугольник заветного платка.

Догоняю эби, когда она уже входит в низкие ворота, украшенные лучистым резным солнцем. Эби! Посмотри – я чист! Оборачивается, скользит суровыми безучастными глазами по моей мокрой одежде – я улыбаюсь самой широкой и

самой жалкой из своих улыбок – нет, не видит меня. Отворачивается и уходит внутрь. Равнодушно хлопает створка ворот. Я сажусь под притворный столб, прислоняюсь к нему спиной, обхватываю руками мокрые трясущиеся плечи и кладу дрожащий подбородок на колени. Зубы легонько выстукивают: «На-до, на-до, на-до. Надо ждать, пока эби простит».

Прощения её можно ждать долго – несколько дней, иногда недель. Несколько недель ожидания доброго взгляда или одобрительного хмыканья, легкого ободряющего прикосновения. Несколько недель небытия. На это время я превращусь в тень эби – буду неотступно следовать за ней, ожидая мгновения, когда ей неожиданно может потребоваться моя помощь. Эби будет наталкиваться на меня всюду – выходя из запечья с парящим чугуном морковной затирухи, поднимаясь из подпола с парой картофелин в переднике, таская со двора дрова, собирая в лесу земляничный лист – но лицо её по-прежнему останется безучастным, а глаза – ледяными. Пища потеряет для меня вкус, а просыпание по утрам станет в тягость. Измученный и истощенный раскаянием, полный отвращения к себе, я буду каждую ночь превозмогать страх перед печью и взбираться на её горб, садиться в ногах у спящей эби и еле слышно скулить, одновременно страшась и желая её разбудить; не дождавшись, уползая обратно к себе на лавку; пока однажды эби не заворохается в темноте и не прошепчет устало: «Ну, иди ко мне, бэлэм, горе мое...»

Ветер дышит студеной водой Итиля, недавно обнажившейся из-под снега землей, горечью первых степных трав с того берега. Пробирает насквозь. Дрожь в моем теле усиливается, я встаю и мнусь у ворот, не зная, что делать дальше. Войти в чужой дом можно по приглашению хозяев или по разрешению эби. Иначе – никак. Ни того, ни другого у меня нет. Допустим, до вечера я как-нибудь проторчу, протрясусь на улице. Один раз, так же рассердившись, эби оставила меня ночевать у ворот, пока сама принимала роды в доме. Но то было на макушке лета, а сейчас – апрель. Конец зимы выдался в этом году гнилым и теплым, и потому весна стояла холодная с крепкими звонкими заморозками по ночам.

Где-то во дворе хлопают двери – одна, вторая – раздаются торопливые шаги, что-то падает, катится с лягом; заполошно кудахчет курица; приглушенные женские голоса – тоненький, взволнованный, аж трепещет, и резкий, властный (эби!) – возникают и пропадают вновь. Сильно пахнет дымом – топится баня. В бане сейчас тепло.

– Ну? – раздается нетерпеливое рядом.

Танцую у ворот и прислушиваясь к происходящему внутри, я не заметил, как рядом появился мужчина: борода курчавая, вороная; лоб выпуклый, в крупную упрямую складку; глаза в бровях спрятались. Это хозяин дома – Тукташ. Подняв могучие плечи к ушам, тащит за собой арбу, полную больших плоских камней – видно, набрал на холмах. Обитые железом деревянные колеса вращаются медленно, поскрипывают – вот-вот лопнут под тяжестью.

Устыдившись своей невнимательности, бросаюсь помогать: открываю створки ворот, подталкиваю арбу сзади, придерживаю камни, чтобы не вывалились, захопываю створки... Вот я и во дворе. Эби где-то рядом – даже не слыша её голос, понимаю это по тому, как поджимается к спине живот, как стягивает плечи.

– Что застыл столбом? – Тукташ по одному сгружает камни на землю; из-под черного каляпуша, нашлепнутого на бритое темя, катятся по гладкому черепу обильные капли пота. – Не для того вам с бабкой плачу, чтобы ты тут ошивался. А ну, живо – к ней!

Получив четкий и однозначный приказ, с облегчением киваю и бегу в глубину двора – мимо крыльца и длинной стены дома, мимо амбаров, большого и малого, мимо хлева, птичника, ледника, сарая – к бане. Я знаю, что женщины там. Отираю грязь с босых ног о порожнюю доску, тщательно полощу ступни в тазу с водой. Тяну на себя разбухшую от влаги, слегка завалившуюся вбок входную дверь. Вдыхаю кисло-горький аромат ошпаренных трав – чабреца, чистотела, чернобыльника и черемуховых листьев – ныряю в плотное и влажное тепло предбанника.

Это – мой мир. Я здесь – хозяин. Эби царит в парильне, где жара и чад, где воздух дрожит и слоится, где запахи мешаются густо, как жир и мясо в кипящей бараньей похлебке; она повелевает клубами пара и шипением воды на раскаленном печном металле, течениями и температурами, жизнями рожениц и новорожденных младенцев. А я всегда здесь, в предбаннике. Я охраняю порог. На границе мне хорошо и спокойно. Духи боятся мужчин, сильно боятся – за всю свою жизнь ни одного из них я так и не видел.

Слышу за стеной беспокойные голоса двоих. Они еще не знают, что охранник их уже тут, на посту. Эби еще не знает. Стягиваю мокрую одежду – рубаху, безрукавку, шаровары – развешиваю на киштэ: скоро высохнут. Набрасываю на плечи одну из простыней, стопкой лежащих в углу. Проверяю, всё ли на месте: серп воткнут над дверным косяком, ножи разложены под паласом у входа, дольки чеснока нежно белеют в ложах пакли меж бревен, на подоконнике – аккуратно переписанное чьей-то старательной и неумелой рукой изречение из Корана: «Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым». В углу стоит прикрытый салфеткой поднос с глиняным чайником, лежит чугунная сковорода с оловянной ложкой. Всё в порядке. Кидаю к порогу кусок войлочной кошмы, сажусь на него.

Скоро дверь приоткрывается – женщины решили немного охладиться. Становится теплее – не то от прогретого воздуха парильни, не то от того, что я наконец-то опять вижу эби. Я не пытаюсь поймать её взгляд, просто сижу и смиренно исполняю свою работу. Ты видишь меня? Видишь, эби?

Я наблюдал эту картину тысячу раз: две обнаженные женщины в тесной коробке из коричневых бревен. Одна – молодая, гладкая, с блестящими от пота перламутровыми бедрами, белым шаром живота в мраморных разводах вен и тяжелыми мокрыми волосами, покрывающими спину. Вторая – старая, темная, рыхлая, вся словно составленная из камней, шишек и коряг. Первая – бедная и глупая, убогая в своей бессмысленной красоте и бесстыжей молодости напоказ; завтра её заменит другая, затем следующая и следующая – и так бесконечное количество раз. Вторая же останется навсегда – какая есть, горбатая, кривопалая, искореженная болезнями и временем, прекрасная. Густой теплый свет сочится сквозь банное оконце, отражается от беленого печного бока, мягко разливаясь по парильне. Женщины плавают в нем как в масле. Пространство крошечное: если протянут руки в стороны – коснутся стен, вверх – упрутся в потолок. Но они совершают множество сложных движений, иногда слаженно, вместе, а иногда каждая сама по себе, но даже в отдельности друг от друга исполняют один танец, двигаются к одной цели, никогда не мешая друг другу и не сталкиваясь – как никогда не столкнутся две большие живые рыбы, опущенные в ведро с водой.

Роженица – жена Тукташа, её зовут Банат, она молода. Я не знаю, сколько ей лет – еще не умею определять годы по лицам, для меня существуют всего два возраста: молодость и старость. Дети не относятся ни к одному из возрастов: дети не живут, они просто стоят у порога жизни и терпеливо ждут, пока вырастут и получат разрешение войти.

– Я боюсь... – Банат уперлась руками в поясницу и широко расставила полусогнутые ноги, её гигантский живот провис между колен и неподвижен, а плечи раскачиваются из стороны в сторону, распущенные волосы скользят по ягодицам, как маятник. – Аллах Всемогущий, как же я боюсь, боюсь, боюсь...

– Грешна? – эби ползает по полу, поправляя разложенное сено.

Банат переступает, давая возможность эби расправить смятые ногами ворохи травы. Негнущиеся пальцы эби расчесывают сено, взбивают его, как вилы при укладке в стога. Чем пышнее сено – тем мягче роды. Эби встает и теми же взбивающими движениями расправляет отяжелевшие от влаги волосы Банат.

– Не знаю, апа. Не грубила, не лгала, не подслушивала, не подсматривала. Не злословила, не сквернословила. Пустых слов не говорила, пустым мыслям ходу не давала. Не любопытствовала понапрасну. За глаза никого не бранила. Не завидовала никому, даже соседской Дильбар, что разродилась в начале весны здоровым мальчиком. Пятое дите за пять лет – и пятый сын. Все выжили, все здоровы, один другого румянее. Бывает же такое счастье... Не грешна, а боюсь.

Банат подносит ладони к лицу – пальцы её мелко дрожат.

– Смеялась ли над кем? – огладив волосы Банат, эби крепко берет её руки в свои и пристально заглядывает в глаза.

Я знаю этот взгляд, от него спина сжимается, как овечья шкурка. Вот и Банат тоже – хорошего роста, а рядом с маленькой эби тотчас усохла, съежилась.

– Нет, упаси Всевышний... – вдруг лицо Банат вытягивается, глаза круглеют и светлеют от ужаса. – Разве что над Тукташем, когда зимой на Итиль за рыбой ходили, а он полдня у проруби просидел и штанами ко льду примерз. И то не смеялась, а улыбнулась слегка, и сразу же помогать кинулась.

Я представляю себе, как богатырь Тукташ, намертво примерзший задом к краю проруби, дергается и извивается на снегу, пытаюсь подняться, а из воды на него недоуменно смотрят озадаченные караси. Едва сдерживаюсь, чтобы не прыснуть и тут же, устыдившись своего легкомыслия, бью себя пальцами по губам.

– Улыбнулась всего лишь, апа! Может, даже и не улыбнулась вовсе, а только подумала улыбнуться – хотела и не успела!

Храня строгое молчание, эби распускает свои косы – тонкие, почти невесомые, и длинные, ниже колен. Долго распускает. Незапутанные волосы её спускаются до земли, волочатся по навалам сена под ногами, иногда кажется, она наступит на прядь или запнется. Ничего не поделаешь, любой узелок или связка – родам помеха. Если бы на мне были помочи и пояс, я бы их сейчас развязал.

Зная, что будет дальше, торопливо выбираю в куче женской одежды на лавке бабушкину рубаху, протягиваю внутрь парильни через порог. Не глядя на меня, эби берет кульмэк. Я ликую: не закричала, не выгнала вон, а взяла! взяла! Может, простила?

Тихо и напевно бормоча, она надрывает подол, выдергивает нитку и начинает распускать рубаху по низу: чем больше петель разойдется, тем легче решатся роды. Медленно кружится вокруг Банат. Та, продолжая покачиваться из стороны в сторону и легонько всхлипывая, провожает её умоляющими глазами. Эби останавливается, притопывает ногой, бросает рубаху обратно мне.

– Плохо, что улыбнулась, – произносит наконец.

– Знаю, что плохо. Покаялась...

– Что толку в раскаянии? Раскаянием от содеянного не откупишься. – Эби тяжело вздыхает, брызжет по углам иссиня-зеленым крапивным отваром из деревянной шайки, воздух мгновенно густеет и наполняется кислым. – Давно знаю тебя, Банат. В смехе – твоя слабость. Больше ни над кем не смеялась?

Банат испуганно молчит, прижав ладони к лицу.

– У тебя спрошено! – эби с громким стуком ставит шайку на полок.

Когда взрослые спрашивают, нельзя молчать – надо отвечать, отвечать сразу же. Странно, что Банат этого не знает.

– Над кошкой, когда та за воробьем погналась и с забора упала.

Эби досадливо бьет себя ладонями по бедрам:

– Кошки с собаками – они ведь и проклясть могут, знаешь про то?

– Слышала, апа.

– Да, непросто тебе сегодня придется, – эби всезнающе качает головой.

Она перекидывает через потолочную балку длинное льняное полотенце и сильно дергает с обеих сторон, проверяя крепость ткани. Затем поджимает ноги и виснет на полотенце; балка чуть поскрипывает, длинные и скрюченные, похожие на кротовьи лапы, ступни эби медленно плывут над сеном. Удовлетворенная, она опускает ноги на пол.

Банат тихо поскуливает, её пальцы нервно бегают по груди и по шее, расчесывая кожу:

– Не оставь, апа! Помоги, сжался... – она набирает в горсти седые пряди эби и целует их, часто и истово.

– Я-то помогу, – сурово отвечает эби, отбирая свои волосы. – Я-то сжалюсь. А вот сжалются ли *они*?

Эби со значением смотрит вниз, на темные половицы, прикрытые охапками желтой прошлогодней травы; на растрескавшийся порог; на выпуклые бревна стен, сверкающие медовыми смоляными каплями.

– ...И он? – Взгляд эби поднимается вверх, на склизкие потолочные балки.

Банат не успевает ответить – вдруг повисает всем телом на полотенце и громко стонет, круто прогибаясь в пояснице. Её ноги разъезжаются в разные стороны, а живот подрагивает, как огромная тяжелая капля, вот-вот оторвется и упадет на пол.

– Не кричи так громко, бесстыдница, не позорь умерших родителей и мужа своего не позорь, – командует эби в перерывах между стонами, тщательно натирая живот Банат мыльной водой и пытаясь нащупать внутри младенца. – И меня заодно. Скажут, повитуха неумелая попалась, боль не смогла унять. Разве мы с Тукташем виноваты, что ты у нас такая неженка?

Та покаянно трясет головой, но не может сдержаться – стонет еще и еще, с каждым разом все протяжнее и ниже; наверное, слышно Тукташу во дворе, может, даже и соседям на улице. Громко стонать от боли нельзя, а женщине – и подавно. Мне становится очень стыдно за Банат, не знающую таких простых вещей; очевидно, её плохо воспитывали в детстве. Эби берет в ладонь охапку мокрых волос Банат и вкладывает ей между зубами... Скоро эта схватка минует, но каждый раз, чувствуя приближение новой, Банат сама будет вкладывать себе в рот плотный комок волос.

День медленно тянется к закату. Схватки набегают одна за другой, как волны в Итиле. Я выковыриваю ногтем чешуйки грязи из пупочной ямки и размышляю, откуда у меня взяться пупку, если появился я на свет не из чрева матери, а из рук эби. Прихожу к выводу, что эби нарочно завязала мне узелочек в центре живота, чтобы я не сильно отличался от других детей и они бы меня не дразнили. Эби – мудрая. За последние несколько часов она так и не посмотрела на меня ни разу. Всё-таки: простила или нет?

В окно предбанника мне хорошо видно, как Тукташ мостит камнями двор – без единой остановки на роздых, с той самой минуты, как я помог ему затащить арбу во двор.

– Много ли трудилась в этот год, Банат?

– Много, апа. В жизни так не работала, как в последние месяцы. Летом с бреднем ходили – меня однажды в Итиль смыло, Тукташ ловил потом, ругался страшно. Осенью лес валили и камни с холмов таскали, полдвора ими выстлали. Зимой лед для ледника рубили и на себе возили – лошади-то нет... Всё делали. Тукташ заставлял.

– Правильно заставлял. Муж твой поумнее тебя будет, овцы неразумной: чем труднее работа у будущей матери, тем легче роды.

– И мужскую работу заставлял делать: колодец копали, крышу перестилали, подгнивший угол дома поднимали – всё вдвоем, только вдвоем. По весне обещал в плуг меня впрячь, вместо лошади, чтобы и пахать вдвоем, да вот – не успел... А я и не перечила: он же не со зла, просто сына очень хочет, вот и старается, как может. Мужская работа – говорят, к рождению сына.

– Шевелилось дите первый раз с какой стороны? С правой?

– С правой, с правой, точно помню! Говорят, и это – к мальчику. И смотрела я в этот миг на Тукташа. Лежала рядом на сякэ и смотрела – а сын-то и зашевелился! Ну, говорю, Тукташ, быть ему похожим на тебя...

– Решила, что знаешь всё, Банат? Что видишь наперед, кто у тебя родится и на кого похож будет? Может, тебе в повитухи пора? Может, я уже и не нужна здесь?

– Прости, апа, прости меня, пустолобую! Болтаю со страха невесть что, язык впереди головы бежит... Ты-то сама как видишь, сыну быть или дочери?

– Сыну. Подурнела ты сильно, Банат. Мальчики – они всегда красоту материнскую пьют и ею питаются.

– Слава Аллаху, Всемилостивейшему и Милосердному! Скорей бы уже всё закончилось...

Я и сам мечтаю о том же, потому что очень хочу есть. Сверток, который вручили эби утром, лежит на лавке, он объемистый и тяжелый на вид (брусок серого ноздреватого хлеба? деревянная рама, набитая сочными медовыми сотами? пакет рассыпчатого жареного творога?); но приблизиться и хотя бы принюхаться я не смею. Я никогда не притрагиваюсь и даже не смотрю на еду раньше эби.

За окном смеркается. В парильне зажигают лучину, и их сразу становится четверо: две живые женщины и две черные тени – суетливые, стремительные, широкие и волнистые на выпуклых бревнах стен, длинные и прямые на потолке.

– Не выходила ли когда после заката из дома, Банат?

– Разве ж Тукташ меня выпустил бы?!

– Не ела ли яиц со спаренным желтком? Гнилого яблока? Плесневелого сыра?

– Всё, что в рот клала, сначала глазами ела и лишь потом – языком.

– Не смотрела ли на покойников?

– Тукташ бы меня саму убил! Только на красивое смотрела, чтобы красота дитю передалась – на яблони в цвету, на коней казахских племенных, на Итиль во льду, на Итиль в половодье, на Итиль безо льда, на новые дома в конце улицы, на сыновей соседской Дильбар – за пять лет пятеро детей, и все сыновья, все выжили, все здоровы, один другого румянее, бывает же такое счастье... А зимой меня Тукташ перед расшитым ковром своей матери сажал, часами заставлял сидеть и смотреть на него, пока узоры в глазах прыгать не начинали. Я и сейчас, как зажмурюсь, только их и вижу – синие лилии по зеленому полю...

– Вот какого хорошего мужа Всевышний дал! Ох, зря ты над ним потешалась, Банат! Отольется тебе тот нечестивый смех. И зачем я только помогаю

тебе, грешнице? Что смогу – сделаю, но ты на многое не надейся. Грехи твои при тебе останутся, в чем виновата – за то ответишь сполна.

– Благодать на твою голову, апа! Отвечу за всё. А ты уж не оставь, не оставь меня сегодня...

Скоро разговоры стихают. Слышны только частое дыхание Банат и непрерывное певучее бормотание эби; иногда – потрескивание потолочной балки и скрип полотенца, когда Банат виснет на нём; да еще изредка её шепот: «Разреши крикнуть, апа, нет сил терпеть, разреши крикнуть хоть раз...» Но эби сильная, как сто женщин – эби никогда не поддается на уговоры.

– Плохо рожает, Банат, – произносит она, когда на медно-рыжем закатном небе зажигается первая звезда. – Слаба ты и ленива, дитю не помогаешь, не стараешься. А мне потом с Тукташем объясняйся, почему что не вышло...

– Что не вышло? О чем ты, апа?!

– Трудись! – повышает эби голос. – Потей, празднoлюбница! Рожать – не с мужем на печи лежать! И поднимись с колен, если хочешь, чтобы ребенок твой скоро на ноги встал!

А я уже протягиваю женщинам через порог поднос с глиняным чайником и единственной пиалой. Я всегда знаю, что и когда нужно эби. Возможно, это самое главное из моих достоинств. Густо заваренный черно-красный чай, холодный и горький до оскомины – не для питья. Эби обмакнет в него палец и напишет внутри пиалы слова молитвы, затем плеснет туда воды и даст выпить Банат. Саму пиалу разобьет, а осколки разложит по четырем углам бани. Испытанное средство. После него младенцы выскакивают из матерей, как горошины из стручка.

Но не то – у Банат. То ли лень её чересчур велика, то ли грехов на сердце больше, чем сама призналась. Испитая молитва не помогает. Как не помогают ни натирание живота, ни хлестание поясницы полынью, ни жевание сушеных березовых почек – Банат продолжает корячиться и стонать, а между ног у нее пусто. Не идет ребенок в мир.

Стоны Банат уже и не стоны – хрипы. Глухие и прерывистые, как брехание старого больного пса. «Разреши крикнуть, апа, легче мне станет, чувствую, разреши крикнуть...» Боясь лечь на пол, чтобы не навлечь хворь на младенца, она распласталась на банном полке и царапает свой огромный живот, оставляя на туго натянутой бледной коже яркие красные полосы. Ноги её живут отдельно от тела – подергиваются, сжимаются и разжимаются беспорядочно, по одной, словно у только что убитой жабы. Лицо Банат – белее простыни на моих плечах, белее печи. А глаза – дикие. Тяжелый день сегодня выдался у эби.

Мне жалко Банат: у нее добрые глаза и нежный голос; она из тех, кто встретив меня на улице, улыбается ласково или гладит по голове. Если бы я долго смотрел на её мучения в бане, я бы, верно, заплакал. Поэтому я не смотрю. Я знаю: справедливость сильнее жалости. Что-то она делала не так, в чем-то провинилась. Виновата сама – в том, что поступала не так, или не знала, как надо поступать. Значит, правильно она сейчас мучается.

Стыд тоже сильнее жалости. Мне стыдно за слабость Банат и чересчур громкие стенания («разреши крикнуть, апа...»), за блестящую струйку слюны, стекающую по мягкому подбородку, за безвольное тело, вот уже который час не могущее разродиться собственным ребенком. Я хочу, чтобы стыд этот скорее закончился – хочу даже больше, чем есть или спать. Я злюсь на Банат, что вынужден страдать от стыда за нее. И потому – пусть она сейчас мучается. Мучается вместе со мной.

– Хватит скулить! – приказывает эби. – Полезай ко мне на хребет, палая ослица!

Она взгромождает ослабелое тело Банат на себя: спиной к спине, затылком к затылку, гибким молодым позвоночником – к выпуклому горбу, тяжелыми черными волосами – к легчайшим седым прядям, гладким белым телом – к бурому шишковатому тулову. Руки Банат кладет себе на плечи, продевает в них локти, прижимает к груди. Тужится, кряхтит и выпрямляет полусогнутые ноги – Банат оказывается лежащей на эби и словно выгнутой колесом: лицом почти касается потолка, тяжелые груди разметались, громадина живота смотрит вверх, ступни волочатся по полу. Покачиваясь, существо из двух слепленных в единое женщин медленно шагает по бане, пытаюсь разрешиться от бремени.

– Тянись! – кричит эби из-под Банат. – Старайся! Работай, дохлая лошадь! Мне за тебя перед мужем и людьми отвечать!

Время от времени эби словно пытается подпрыгнуть на месте – подбрасывает Банат, чтобы той лучше тянулось. От порога мне хорошо видно, как при этом болтается из стороны в сторону опрокинутое навзничь лицо Банат с открытым ртом и застывшими глазами.

Пора. Я беру лежащую в углу сковороду и бью в нее оловянной ложкой, громко и часто: бэн! бэн! бэн! Я не знаю, зачем – эби велит бить каждый раз, когда на лице роженицы читается близость смерти. Женщина себе при родах семьдесят суставов рвет, это все знают, и еще сорок дней двери могилы остаются открытыми для нее. Но у некоторых рожениц печать смерти невидима, а у кого-то – проступает так явственно, что не заметить невозможно. Я всегда замечаю. Эби потом за это хвалит, говорит, глаз у меня чуткий; от той похвалы долго еще горят уши и потеет затылок. Бэн! Бэн! Бэн!

На шум прибегает Тукташ – вваливается в предбанник, запыхавшийся, утирая жирными от земли руками пот с шеи и затылка: что? как? долго ли еще? В парильню войти не смеет, застывает у порога рядом со мной, стыдливо опускает каляпуш на глаза, придерживает рукой. Может показаться, что вместо лица у него – черный матерчатый кругляш, плоский и засаленный.

– Хорошо, что пришел, – говорит эби. – Плоха Банат – грехи её давят, ждали нутро железными обручами, не дают разродиться. Будет сейчас прощения у тебя просить. Глядишь – поможет.

Эби сгружает вялое и податливое тело Банат на пол, кое-как прислоняет к стене. Та растекается по бревнам, как выплеснутая из лоханки сметана. Всунув пальцы в рот Банат, эби с усилием разжимает ей зубы и вынимает зажеванную и обслюнявленную прядь волос.

– Перед тобой муж твой, Банат. Видишь ли его?

– Вижу, апа, – шепчет та, хотя застывшие глаза её смотрят куда-то вниз и вбок, не то в ослизлые темные бревна у самого пола, не то сквозь них.

– Он здесь, чтобы помочь тебе. Ты, Банат, набита грехами, как бочка – соленой сельдью. Стальные ободы сковали твое нутро и не выпускают в мир ребенка. Вспомни сейчас все грехи, сотворенные тобой против мужа, и назови их, не таясь. А он простит – снимет вину за каждый. Грехи останутся при тебе, а вот вина перед мужем уйдет – ободы лопнут. Освободись от вины, Банат, и освободи ребенка из своего чрева.

– Не понимаю, апа. Разъясни, ради Всевышнего.

– Вспоминай, в чем перед мужем виновата! Не может быть, чтобы чистая – и так тяжело рожала. Я таких, как ты, тьму повидала и еще полтьмы. Грешна, точно знаю. Вспоминай и прощения проси – да побыстрее, пока младенца в нутре не уморила, не то добавишь к своим грехам еще один. Или хочешь стать убийцей собственному ребенку?

– Не хочу, апа! Но вспоминать нечего – не грешна против Тукташа, ни словом, ни мыслью, ни поступком.



– Не мне лжешь, Банат, и не Тукташу. Одной ногой по ту сторону стоишь, так что сама понимаешь – кому сейчас лжешь.

– Не грешна!

– Молчи, теперь я скажу, – произносит Тукташ устало, рот его наполовину прикрыт каляпушем и оттого слова звучат глухо и тихо. – Грешна ты, Банат, не отпирайся. Надеялся, что грех этот в доме останется и дальше забора нашего не пойдет. Не вышло. Быть соучастником не могу. Ты, Банат, заглядываешься на чужого мужа. За это сейчас расплачиваешься.

– Вот! – ликующе скидывает вверх руки эби.

– Что ты такое говоришь, Тукташ? За два года замужества я и взгляда выше твоей бороды не подняла. Всё только с то-

бой, вдвоем, всё для тебя.

– Летом, когда косили, шла ты по кромке поля и пялилась на соседского Шухрата – прилипла к нему взглядом, как муха к смоле. И по весне пялилась, когда ходили всей деревней на ледоход смотреть. Я видел.

– Не на него глядела, а на жену его Дильбар и сыновей-погодков! Ведь за пять же лет – пятеро, все выжили, все здоровы, один другого румянее, бывает же такое счастье... Я для нас того же хотела. Если и посмотрела на Шухрата – лишь для того, чтобы тайну их счастья разгадать. Спроси меня – я и не помню ничего о нем, ни какого роста, ни какого цвета глаза...

– Синие! Синие у него глаза, какие только у урусов да немцев окаянных бывают! Видно, путалась прабабка с кем ни попадя!

Банат роняет голову вбок. Её живот, кулем лежащий между ног на полу, слегка подергивается. Моя жалость к ней испаряется: так и знал, что она сама виновата. Я больше – не с ней. Я – с неумолимой эби и непреклонным Тукташем. Мы троим – против одной Банат. Мы вместе обвиняем её, маленькую и недостойную. От причастности к этому строгому жизненному суду, к сильному и правому лагерю взрослых что-то ширится и растёт в груди, словно птица расправляет крылья перед полетом – кажется, это уверенность, что эби должна меня простить.

– Времени нет, – деловито говорит эби. – Проси у мужа прощения. Повторяй: прости меня, муж мой... Что же ты молчишь? Прости меня, муж мой...

– Прости меня, муж мой...

– Громче, Банат!.. за то, что согрешила против тебя...

– ...за то, что... не грешила я, не грешила... что согрешила против тебя...

– ...помыслом о соседе нашем Шухрате...

– ...помыслом о соседе нашем Шухрате...

Тукташ так сильно дышит в прижатый к лицу каляпуш, что дыхание его кажется громче шепота Банат.

– ...в чем раскаиваюсь и прошу снять с меня вину мою.

– ...в чем раскаиваюсь и прошу снять с меня вину мою.

Банат плачет – беззвучно скалится, отвернув лицо к стене, и трясет плечами. Тряска эта постепенно передается рукам, развалившимся на две стороны грудям, огромному животу, ногам – и превращается в мелкую напряженную дрожь. Дрожь бьет всё тело Банат, оно сползает на пол и, выгибаясь, трепещет на сене, как выброшенная на траву плотва. Разреши крикнуть, апа, хоть сейчас – разреши...

– Наконец-то, – выдыхает эби.

Обряд снятия вины, хоть и не доведенный до конца, помог: ребенок показался из чрева.

Тукташ приваливается к стене предбанника, кладет руку мне на плечо и стискивает его железными пальцами; кажется, оно сейчас оторвется от тела или расплывется. Ни охнуть, ни тем более забрать свою руку я не смею, но эта нечаянная боль мне даже приятна, через нее я словно становлюсь ближе угрюмому Тукташу, а в его лице – всему суровому и притягательному взрослому миру. Так и сидим, сцепившись: я лицом в парильню, он – спиной.

Эби нависает над телом Банат – гладит, тянет, мнет, трет, давит, поколачивает, сжимает и расправляет. А младенец-то оказался упрямец – является в мир ногами вперед. Знаю: это плохой знак. И эби знает. А Тукташ – нет.

– Ну, что там? – спрашивает он, от волнения всё сильнее сжимая мое плечо.

– Сын, – отвечаю. – Сын у вас, Тукташ абы. Уже наполовину родился, мне отсюда хорошо видно.

Тукташ рассыпается резким и рваным смехом.

– Не смей останавливаться! – эби вьется вокруг Банат, вытягивая и выжимая из нее наполовину рожденного младенца; плечи и руки эби ходят ходуном, блестящий от пота горб словно перекачивается по спине; изредка она швыряет в лицо Банат холодной водой из черпака. – Трудись, верблюжьи потроха!

И ребенок, наконец, рождается: крошечный, чахлый, похожий на диковинного красного паучка. Голова – длинная и шишковатая, картофелиной, а пузо круглое, мелкой тыковкой. Я смотрю на него – густо облепленного какой-то липкой бурой дрянью, облитого материнской кровью, слабо разевающего узкую щелку беззубого рта – и радуюсь, что никогда таким не был. А еще радуюсь, что, заслышав первое тьяквань новорожденного, Тукташ отпускает мое онемевшее плечо; верно, к утру оно распухнет и станет багровым.

– Рубаху свою давай, отец! Сына завернуть! – кричит эби, ловко перерезая сизый канатик пуповины раскаленным ножом из печи и завязывая ребенку узелок на животе. – А жена-то твоя как боялась! Травой дрожала. Ничего, родила без воплей, не опозорила. Всё правильно прошло! Всё как положено!

Неподвижное тело Банат валяется на полу, облепленное собственными черными волосами и санными травинками.

– Похож на кого? – Тукташ стягивает кульмэк через голову, промокает ею обильный пот, выступивший на лице и шее.

– На тебя, отец.

– Глаза какие?

– Да кто ж их разглядит, в темноте такой. Утром увидим, при солнце.

– Глаза у ребенка какие, апа?

– Синие у сына твоего глаза, Тукташ. У многих младенцев глаза поначалу синие, потом темнеют.

– Синие? – Тукташ несколько мгновений сидит, размышляя. – Синие глаза? – Вновь натягивает на себя рубаху, встает. – Синие глаза! – Оглядывается растерянно, словно оказавшись в незнакомом месте; берет из кучи одежды женоино платье, рассматривает его отстраненно, роняет на пол. – Синие! Глаза! – Толкает дверь и вываливается вон из бани, в ночную темноту, полную порывов ветра и редких совиных вскриков.

Но нам с эби – не до него. У нас еще много дел. Дождаться рождения последа, обмыть его и обсушить, завернуть в тряпицу, прочесть над ним поминальную молитву и захоронить под основанием дома. Говорят, что послед – младший брат новорожденного, умерший в чреве матери, чтобы старший остался жить. Всегда ли это так: один должен умереть ради того, чтобы второй жил? Всегда ли чья-то жизнь оплачивается чьей-то смертью? А если так – то чьей смертью оплачена моя жизнь?

Вымыть мать, увести её в дом и уложить спать вместе с ребенком. Не забыть мазнуть ребенка сажей по лбу, чтобы ночью не подменили. Сжечь сено, на котором состоялись роды. Вымести и трижды вымыть всю баню. Тщательно вымыться самим. Развесить над печью пуповину, чтобы как следует высохла. Через несколько дней кусочек её завернут в тряпицу и повесят младенцу на шею, чтобы оберегал от сглаза, а оставшуюся часть будут бережно хранить долгие годы, отщипывая по крошке и выдавая ребенку как лекарство при самых тяжелых болезнях, пока он не вырастет и не войдет во взрослый мир. Все дети знают, где в доме хранится их пуповина, они могут посмотреть её и даже потрогать, если взрослые разрешат. У меня такой пуповины нет. Эби говорит, что это не страшно: я жив и здоров до тех пор, пока она обо мне заботится. Я верю ей. Любовь эби лучше пуповины.

Мы с эби полночи работали молча, не обменявшись ни словом, ни даже взглядом: в словах не было нужды, каждый знал, что делать; а для взглядов было слишком темно. В этом молчаливом и согласованном труде я читал свое прощение, и оттого работа казалась легкой, исчезли куда-то дурные мысли и даже голод. Я мог бы еще долго вот так шнырять по двору, освещенному светом звезд – из бани в дом, из дома в баню – и таскать в руках младенцев, и вести за собой обессиленных, словно ослепших от изнеможения, доверчивых в своей слабости матерей, и копать землю, и соскабливать ножом капли крови с половиц, и с опаской кормить маленькую и прожорливую банную печь ворохами влажного пахучего сена...

Скоро я уже сижу в доме, чистый, со скрипящими от крапивного отвара мокрыми волосами, и прислушиваюсь к ночной тишине. Слышны только храп эби и резкие судорожные постанывания Банат. Квадраты лунного света серебряными паласами лежат на черных половицах. В центре избы висит длинный темный ящик – деревянная зыбка. Завтра утром, совершив радостный ритуал, туда опустят новорожденного; пока же в нее положен большой плотницкий топор (пустая зыбка – к несчастью), а ребенок свою первую ночь спит под боком у матери, на сякэ. Первая ночь самая опасная, моя обязанность – следить, чтобы младенца не украли и не подменили шаловливые духи. Я из последних сил тарасюсь на него, борясь со сном; придерживаю слипающиеся веки пальцами, время от времени тыкаю в себя пальцем в живот и жду, с нетерпением жду рассвета, когда мы с эби получим причитающуюся нам плату и отправимся домой, где можно будет упасть на лавку, накрыться с головой старым пахучим тулупом, вмять лицо в набитую травой подушку и закрыть глаза. Как вдруг заме-

чаю, что личико у младенца – словно замороженное: ни единая легкая гримаска не пробегает по нему, черты застылые, ресницы и рот плотно сжаты. Такая отрешенная неподвижность бывает только на лицах покойников.

Я подбираюсь к сякэ и прислушиваюсь к дыханию ребенка – дыхания нет. Младенец мертв. Мертв уже давно: края ноздрей и кончик носа бледные, частой сетью оплетшие головку кровяные сосуды плоские и вялые.

Чья вина в том, что ребенок умер? Лихорадочно шарю взглядом по избе – на лавке возвышается бугристое тело эби, пышным холмом – горб, корявая рука загогулиной свесилась до пола; на подоконнике торчит из горшка пучок герани; по сякэ, по черной подстилке из собственных волос, разметалась Банат, то и дело беззвучно раскрывает рот, возможно, ей снится, что она наконец громко кричит; синие лилии вьются по зеленому полю ветхого прямоугольного ковра, прибитого к стене мелкими блестящими гвоздями – и понимаю: больше в избе никого нет, винить некого. Вся вина – моя.

Возможно, я на мгновение отвернулся или сомкнул ресницы, или зевнул, или еще что-то сделал. Или не сделал. Как бы то ни было – не доглядел, не охранил, не защитил. Чувствую, как в животе что-то противно и холодно плещется – страх. Меня не простят – ни добросердечная Банат, ни сердитый Тукташ, ни остальные деревенские, а главное, меня не простит эби. Я больше не смогу работать с ней: кому нужен охранник, у которого духи крадут младенцев из-под самого носа в первую же ночь? Я допустил промах и опозорился – опозорился навечно.

Первая мысль: попробовать исправить оплошность – оживить умершего мальчика. Несколько раз я наблюдал, как это делала эби: когда из материнского лона выпадал в мир мертвенно-синий младенец и никак не мог раздышаться, она сначала долго била над ним в печную заслонку, часто и громко, как только возможно, а затем, держа за ноги, шлепала наотмашь по морщинистым ягодичкам. Иногда ребенок оживал, покряхтывал и, наконец, подавал слабый голос. Хотя чаще – нет.

Представляю, как осторожно выковыриваю из-под материнского бока и беру на руки холодное, уже немного застывшее тельце; несу в баню, прижимая к себе и пытаюсь согреть своим теплом (головка запрокидывается назад, слепые глазки прижмурены, а мелкий ротик приоткрывается, язык влажно поблескивает меж десен); как грохочу над ним заслонкой в остывшей парильне... Не поможет.

Разбудить эби и повиниться? Может, у нее получится что-то сделать? Но что?

Сбежать, пока никто не проснулся? Но куда?

Я уползаю в дальний угол избы и сажу там, на полу, скукожившись и тихо поскуливая в прижатые к лицу коленки. Плакать громче я боюсь. Сноп яркого лунного света, как назло, падает на сякэ и освещает застывшую мордочку младенца. Вина плющит меня, как взваленная на плечи арба Тукташа, доверху набитая камнями. Тело ноет, словно побитое. Милостивый и Милосердный, сделай так, чтобы ночь эта длилась вечно и утро никогда бы не наступило.

Но оно наступает. Через пару часов лунный свет сменяется солнечным, а вместе с первыми рассветными лучами в дом входит и сам Тукташ. Не снимая уличного халата, он торопливым шагом направляется напрямик к сыну – отнимает его от Банат и, сжимая в ручищах, подносит к окну, плечом отодвигает в сторону занавеску. Головка младенца безвольно падает на грудь, и Тукташ поднимает его выше, к самому потолку, жадно заглядывая в красное сморщенное личико.

Я жмурюсь в ужасе. Слышу, как вопросительно вздыхает на постели Банат, как скрипит лавка под проснувшейся эби. И как жалобно крикает ребенок, затем еще и еще, всё чаще и громче, наконец, тягуче скрипит, набирая в грудь воздух, и раздражается требовательным плачем. Смотрю на него, не веря своему счастью – жив! Лицо злое и красное, брызжет мелкими сердитыми слезами, сжатые в кулачки жилистые ручки молотят в воздухе. Жив, паучонок! Жив, слепыш!

– И не синие вовсе, а серые глаза-то! Правда, потемнеют потом? Правда, апа? – Тукташ с надеждой смотрит на эби...

Когда мы с эби идем домой, под мышками у нее уже два увесистых свертка. Мы звонко цокаем деревянными котурнами по камням, время от времени заговорщически переглядываясь и улыбаясь. А навстречу нам, по центральной улице Рэхмэта, весело брызжа из-под зубчатых колес крупными комками грязи и распугивая всех встречных собак и кур, с могучим тарахтением движется колонна: черные стальные бока блестят, механические сердца ритмично гремят и лязгают, торчащие в небо длинные трубки часто дышат белым паром – тракторы. Идут на пашню. На трубке каждого трепещет завязанная красивым бантом красная лента: в честь грядущего Первомая.

– Салям, апа! – кричит тракторист на первом, стараясь перекрыть грохот. Одет он совсем по-летнему: в растянутую хлопковую майку без рукавов и объемистую городскую кепку. – Салям, Салават! Залезай ко мне – прокачу!

Эби с деланной строгостью грозит ему пальцем – и он послушно кивает, широко улыбаясь; затем корчит мне шутливую рожицу, пожимает мускулистыми плечами: мол, нельзя так нельзя. Я смотрю на колонну, которая катится мимо, на её трактористов, уверенно сидящих в своих высоких седлах и деловито крутящих руль, и думаю о том, что все эти веселые молодые парни с сильными руками и белозубыми улыбками, все до единого, пришли в этот мир через руки эби.

Мы с ней шагаем дальше – мимо крошечной избушки сельсовета с красной звездой на двери и с красным же транспарантом над крыльцом, мимо покосившейся мечети, половину которой занимает мэктэбэ (раньше в мэктэбэ преподавал сам мулла-хазрэт, а теперь – приезжий учитель из Сары-Тау, а на русский лад – из Саратова; осенью я пойду туда учиться), и скоро выходим на проселочную дорогу. Через час будем дома.

Я не вижу ни темно-коричневых холмов, перетекающих один в другой, как Итильские волны, ни нежно-молочного пара, что поднимается поутру над длинными прямоугольниками пашен, ни низких желтоватых облаков, тянущихся над головой. Поднимаю ноги высоко, как журавль – старательно переставляю котурны по сочной весенней грязи, чтобы не забрызгать идущую впереди эби. Кочка её горба покачивается прямо перед моим лицом, время от времени я протягиваю руку и прикасаюсь к ней, и в эти мгновения испытываю острое безраздельное счастье.

